

А. ВИТУХНОВСКАЯ. НЕВЕСТА

Что-то мглистое,
седое,
гомосексуальное
Было в болотистом хаосе
халата моей невесты.
Мне слышалось
с небес:
"Она съест тебя!
Она тебя съест!"

Я искал успокоения
экзистенциальным поэтом
В вопросах,
подобных вопросам
Французского болезненного полугения:
Что спасет меня? -
анальная принципиальность
окончательно обезумевшего
ростовщика?
Старая шлюха-итальянка,
вышедшая как будто
из черно-белого порно шестидесятых?
Мальчик, пускающий слюни, с отрезанным членом,
и коленками, вогнутыми вовнутрь,
как у сломанного почти,
механического кузнечика?..

Я - этот мальчик !
Я не вырос ! Слышишь?
Целуя меня, милая, брезгуй!
Ведь я полон этих пьяных
животных депрессий.

При этом -
Помнил
(Изнутри самого себя
Я оставался
Изумительно трезв) -
Я знал,
что спасения нет,
И она меня съест.

И бог похож на голод
Подобных этой невест.



АЛЕКСЕЙ СОМОВ. СТИХИ СЕНТЯБРЯ

Чужой сон

Тот сон был сделан из воды и глины,
холодного расстрельного дождя
(ты говорить об этом не должна).
Вода уже до горлышка дошла,
а сон был длинный,
как спор двух полоумных чудаков,
как бы друзей, а присмотришь – врагов,
и ямина осклизлая меж ними.

Один (в упор не вспомнишь, кто таков)
как будто с мягким треугольным нимбом,
другой с ехидной мордочкой зверька,
а может, в хищной зооморфной маске,
а может, в доме не было зеркал,
и он себе лицо придумал наспех,
а может быть (не говори, забудь
и этот сон, и как меня зовут).

Один как будто в чем-то убеждал
другого, зверолицего и злого
(да только вот беда, ну вот беда,
не разобрать ни слова, ни полслова,
и сон, как оборванец, убежал,
и вспухла глина, и пошла вода
из всех моих естественных отверстий,
и встала яма, как звезда, отвесно,
голодная, глумливая звезда).

Не говори, не помни, не пиши.
Такие сны, сестра, скучнее яви.
Я отдал бы полсмерти, полдуши –
чтобы узнать, да, только бы узнать,
о чем поспорили у края гиблой ямы
два дурака, два брата, два поэта,
как бы враги, а присмотришь – друзья.

Но никому не говори об этом.

Средневековая лирическая

За полем, за лесом, на тропке волчьей,
у старой гнилой запруды
я буду ждать тебя три дня и три ночи,
а потом я тебя забуду.

За темным лесом, за тминным полем

есть келья с червивой дверью,
там и ты позабудешь о земле и боли,
а потом я тебе поверю.

За лесом, за полем, за полем-лесом
три дня, как три чумных года,
я буду любить тебя огнем и железом,
а потом подарю свободу.

Корабельная

Ты чувствуешь себя пустой бутылкой,
в которой некий хмурый демиург
игрушечный кораблик день за днем
настойчиво и кропотливо строит.

Ему в подмогу, кроме ловких пальцев
и вечности (которой не бывает
ни много и ни мало) – инструменты
загадочные, им же несть числа:

тончайшие и умные пинцеты,
и кисточки из беличьих ресниц,
и что-то вроде лилипутских лапок,
чему названья даже и не знаю.

(Такая нудная неспешная работа –
отличный способ скоротать разлуку,
иль, скажем, непогоду переждать.)

И понемногу из дрянного сора,
из чепухи, из тряпочек и спичек
растет в бутылке маленькое чудо,
бессмысленнейшее из всех чудес:

еще чуть-чуть – и назовешь его
пиратскою фелукой, или даже
египетскою лодкой погребальной,
а может, каравеллою какой.

Все прочее (небритые матросы,
который век страдающие от
цынги, похмелья, боцманских придинок,
а вот и бравый боцман с медной дудкой,

а вот соленый злобный ветерок,
присевший в ожидании на рее) –

все остальное довообразишь
и аккуратно утвердишь на полке
каминной, по соседству с чудесами
того же плана: выцветшее фото
с чужой необязательной улыбкой,

собачка неизвестной пыльной масти,
обкатанный голыш «привет из Гагр»
и раковина сонная, витая,
хранящая далекий шум-шум-шум
игрушечного кораблекрушенья.

* * *

Данику, никуда

(в голодной тихой комнате смотри
простое колдовство на раз два три)

И раз
весну прорвало как нарыв
тяжелой кровью семенем и гноем
на улицах набрякли фонари
а у моей любви промокли ноги

(как будто бы не я и не с тобой
в другой стране
с изнанки мостовой)

И два
допустим ты моя любовь
дворовый мальчик голубой лисенок
смешливый демон хищный полубог
капризный и насупленный спросонок

(с изнанки унавоженной земли
твои глаза цветами проросли)

И три
я все равно с собой возьму
заныкаю подальше и надольше
вот эту вот сопливую весну
ледышку
лодочку
озябшую ладошку



Хроники подземного воздухоплавания (II)

На Луне придумали такое –
там есть море скорби и покоя.
Но сказать по правде и секрету,
никаких морей там вовсе нету.
Заблудившиеся космонавты
населяют лунные ландшафты,
все гуляют в праздничных скафандрах
и поют-играют на кифарах:

«Хорошо нам – что бы ни случилось,

остаются правильные числа.
Оттого-то в шерстяных могилах
мы хороним наших мертвых милых
и в чудесных глиняных ретортах
зачинаем наших новых мертвых.
Мир пребудет тот же, что и раньше –
ядовито-зелен и оранжев.
Мир пребудет золотой и зряшный,
молодой, бесстыдный и нестрашный».

.....

На Луне придумали такое,
что до Господа подать рукою.
Но сказать по правде и секрету,
никого там не было и нету.
Только бриллиантовый лишайник
оживляет лунные ландшафты.
В лунном грунте, в ледяных каморках
спят спокойно лучшие из мертвых.

ИЧСХ

Я говорю обычного обычной...
В. П.

На родине моей, что характерно,
царит Борей, что очень характерно,
и нет морей, что крайне характерно,
в которых не мочили б сапоги
коварные Отечества враги.

На родине моей, что характерно,
не устоит ни город, ни село
без праведника или дурака,
для прочности вмурованного в стену,
что, сука, характернее всего.

А население пляшет трупака,
и в общем, все здесь на соплях и сперме –
и каземат, и мраморные термы,
на сгустках слизи, спелых и тугих.
Чего-чего, а этого до чёрта,
а под крылом молчит себе о чем-то
как прежде, море песенной тайги.

Дом детей

Ко-
ри-
доры
лестницы горбатые

в доме пусто в доме никого
Мотыльки сами в руки падают
только на булавку наколоть

Пе-
ре-
ходы
сонные чуланчики
замурованные голоса
На тарелках сладости вчерашние
кукольные синие глаза

Раз-
бе-
гутся
пыльные горошины
заскрипит слоненок заводной
Поиграй с ними по-хорошему
пошути по-доброму со мной

Мно-
го
ме-
да
в косточках черешневых
только чур об этом уговор
На тарелках сладости вчерашние
в доме пусто в доме никого

А
в са-
ду
пауки противные
ткуют и ткуют пряжу досветла
топкий бред сполохи крапивные
серый камень
мокрая листва

Сентябрь 2010

АЗУРЕС. ПРЕДАННОСТЬ.

Королеву который год терзали не повинующиеся даже под угрозой четвертования сны. Казалось ей ранее, что достаточно гневно воскликнуть и сверкнуть пламенеющими очами под закрытыми веками, как сны вытянутся струнками, станут ходить мимо неё на цыпочках и кланяться в пояс. Раньше бывало, что сон, поначалу бесцеремонно ворвавшийся в её величественно-торжественные покои, терял самообладание и навыки самообороны, подползал к стопам королевы на брюшке, жалобно скулил и просился на ручки с сияющими перстнями и браслетами. Королева, как подобает деспотической особе, давила их хрусткие хребты каблучками, но сны терпеть и трепетать были рады.

Теперь же сны распоясались, разоблачились, стали вёрткими и щекотливыми – кружили над Королевой стайкой оголодавших стервятников; или, колыхая своими дряблыми, неповоротливыми телесами, вкатывались в апартаменты, задевали реликвии династии, роняли их куда придётся, пятнали гобелены и ковры. Королева устала звать служанок прибираться после каждой подобной интервенции, смирившись с упадком Империи, каковой явственный и неочевидный признак – неопрятность и бесчинство снов.

Однажды, в грозовую ночь, норовящую влиться в окна густыми струями ливня в опочивальню, Королева задремала прямо на троне, утомлённой бессонным межцарствием. Там посетил ещё покорствовать готовый сон, один из немногих, оставшийся преданным Престолу. Скользя в щель между занавесями паланкина, подкрался, карабкаясь по атласной мантии, как скалолаз; влился в её глаза, как текущие обратно под ресницы слезинки, и заволок всю дрёму Её Величества. И виделось Королеве прерывистой всполохами молний и трепетом век её ранняя юность...

...За Инфантой на прогулках всегда следовала вереница умеренно настырной свиты. Пажи то и дело нарушали её робкие пробы сосредоточенной задумчивости бестолковыми указаниями на так называемые красоты и редкости, изобильные в саду близ дворца. Фрейлины на каждом шагу становились словоохотливыми в комплиментах наследнице престола, надеясь, что Инфанта запомнит их имена и титулы, не уступавшие длине шлейфам на их платьях и головных уборах. Фавориты Инфанты были всем известны, но то нисколько не уняло придворных болтунов, - достаточно Инфанте было взмахнуть рукой в произвольном жесте, чтобы таковой не стал темой бурных, оттого ещё более непристойных кривотолков в апартаментах челяди. Рано познавшая тяготы и наслаждение от постороннего внимания, Инфанта старалась не устаивать и надменным взглядом то, как свита, жадно внимающая каждому её слову и ловящая в тенета цепкого взгляда каждый её вздох. Намеренное безразличие мало помогло, - домыслы возрастали по дерзости и бестактности, и некоторые, особенно невоздержанные на язык, поплатились за то головами, впрочем, совершенно пустыми, чтобы жалеть о них. И всё же, в один погожий поздневесенний полдень Инфанта не сдержалась, чтобы не сбежать от заботливого надзора своих присных.

Пажи напрасно окликали её, пытаясь как можно мелодичнее выкрикнуть Её пространный титул; порой они сбивались на нестройный хор скулящих псов. Фрейлины сновали по всему саду, напоминая распуганных хорьком в курятнике наседкам; они чуть ли не истошно вопили, и только Высочайший Указ Батюшки-Императора о тишине остерегал их от прямого попадания на эшафот. Была призвана дворцовая стража и почётный караул при гробницах былых правителей земель

беспробудного сна, и всё было бесполезным, - Инфанта словно растворилась в лабиринте изогнутых в чинном поклоне вишен и стойких на страже императорского покоя кипарисов; особо одаренные легкомыслием и суевериями придворные заглядывали под листья и лепестки цветов, полагая, что Инфанта обратилась цветочным эльфом, и скрылась от них в свёрнутом коконе на стебле. И так – до того, как некто сообразил извлечь из сумрачной псарни *королевскую свору*, неравномерно распределённую, согласно иерархии в Королевстве Беспробудного Сна, между пажами, фрейлинами и кавалергардами.

Тем временем, как Инфанта уже не могла слышать томных певчих и тревожное кудахтанье; она бежала, насколько ей это позволяли трещащие по всем швам с посеребрённым драпом туфельки, туда, где по её представлениям должна быть ограда дворцового сада. Хотя бы краешком глаза увидеть, что по сторону сада, - думалось ей, пока боль в голенях не принудила её замедлить панический бег, а затем и вовсе остановила.

Но ненадолго. Издали разнеслась по всему саду бодрящая во всех смыслах эпитета трель охотничьего горна. Инфанта немедленно осознала, что её скоро найдут, безыскусно окружают со всех сторон, и вновь замкнут в кольцо бесстыже-навязчивого, поучительного гомона. Уведут обратно в строго упорядоченную часть сада и впредь станут, ни на мгновение, не сводить с неё глаз – как бы не нарушила священный для чрезмерно заботливых периметр.

Инфанта, поникнув всеми пятью и частью шестого чувствами, побрела по некой неприметной боковой аллее, как будто намеренно неухоженной. Коридор из нехарактерных для сада сосен и орешника постепенно превращался в теряющуюся каждые несколько шагов дикую тропу; величавые деревья сменялись вкрадчиво-подлым, царапающим и рвущим дёрном, и ещё каким-то колючим кустарником, намеренным во что бы то ни стало не пустить Инфанту... куда?

Уставшая и уже готовая пожалеть, что сбежала от пристального надзора, Инфанта сама этого не знала, - до тех пор, пока туфли, потерявшие в сорной траве бархатные банты, не вынесли её на затерянный в саду пустырь. На пустыре червивым грибом рос заросший мхом и лишаем флигель; само здание обветшало и по бревну исчезло в крапиве и лопухах, но флигель удерживала стоямя колдовская сила. Инфанта вглядывалась несколько пугающе долгих минут в окна без стёкол и ставень, схожих с пустыми глазницами черепа; в глубокие щели меж блоками, напомнившей виденный ей рисунок в грудной клетки в некоем древнем фолианте. Флигель и в целом был схож с анатомической гравюрой – столпы-стволы из вековых сосен, поддерживающие стены с обеих сторон, напоминали грубые жилистые руки; камень, из которого было сооружено жилище – телесного цвета, пятнистое от «пигментных и родимых пятен», с бородавками, шрамами и ожогами; черепица, треснувшая и местами провалившаяся – редкую приглаженную шевелюру.

Завороженная хмурым безобразием руин, контрастным с избыточной помпезностью дворца, Инфанта ждала, когда из сомкнутой в кривой ухмылке пасти архитектурного чудища высунется его омерзительный язык. Например, громадная сороконожка с подобием человеческого лица со жвалами, бряцающая сегментами хитинового панциря и скрипящего железными шарнирами на деловито-хлопотливых в живодёрне лапках. Инфанта зажмурилась, испугавшись собственной фантазии; немного погодя, убедившись, что химерическое насекомое не спешит явиться, Инфанта осмелилась приблизиться к флигелю. И тут е ноздри её обжёт бесчинный смрад химикалий, вырывающийся облачками из узкого окна под самой крышей, прорезанным не так высоко, как показалось Инфанте на первый взгляд. Она также удивилась тому, что её кашлю никто не вторит, как бывало прежде, - когда она лежала простуженной в

алькове, суеящиеся вблизи придворные старались, по меньшей мере, манерно чихнуть, чтобы Инфанта не чувствовала себя одиноко во время болезни. Обойдя, стараясь не задеть угрожающе нависшую над ней, противоестественно высокую крапиву и репейник, Инфанта заглянула в окно, единственное занавешенное в останках дома. Ей почудилось, что ей в глаза кто-то пустил «солнечного зайчика» из ручного зеркальца, так, что она едва удержалась на ногах и не повалилась в канаву, заросшую готовыми принять её в свои неласковые объятия колючками.

Чуть присмотревшись, она заметила, что слепящий блик порождён мелькавшим в окне оголённым старостью, бугристым черепом, обтянутым монотонно бледной кожей. На черепе ей была замечена узкая, тонкая борода, будто слепленная из пепла трубка, рот с поджатыми сухими губами, исполосованный тремя шрамами нос и подслеповатый прищур затуманенных глубокомыслием глаз. На инфанту обладатель проникновенного обратил внимания, тотчас исчезая после некой процедуры в глубине комнаты. Подойдя к окну снова, повторно сверкнул, но уже не плешинной, а призматической линзой без оправы, протёр оптический прибор бинтом и укрылся в своей лаборатории, оставив Инфанту наедине с её недоумением.

- Кто этот странный живущий или нежилец, призрак? – думалось престолонаследнице, катавшей каблуком мелкие камушки, устлавшие дно давно высохшего ручья, заменившего тропинку, - неизвестно куда ведущую, но прочь от призрачного дома. Добравшись до оврага, означавшего границу между ухоженным гостеприимным садом и его уродливым аппендиксом из терновника, бурьяна и буреломов, Инфанта наткнулась на офицера дворцовой стражи, спящего под покровами непроницаемой листвы ивы. Сбившегося с ног в поисках и отставшего от рыщущей вдалеке свиты, отчаявшейся найти Её Высочество оттого, что все псы поголовно оплавил себе носы в благоуханном саду, где по все четыре стороны горизонта тянулись не отцветающие круглый год розы, фиалки, ирисы, лилии и всё, что не всякая чуткая к ароматам псина переживёт не покалеченной обонянием.

Проснувшийся в церемонном страхе лейтенант сперва лопотал жалостливые извинения и просьбы пощадить, затем упрашивать Инфанту вернуться во дворец к всеобщему ликованию. Инфанта же не стала слушать его увещевания, пригрозив сокращением по чину без пенсии и ровно на одну голову, велела служивому немедленно доложить всё, что знает об арендаторе флигеля. Офицер к тому кратком времени уже ополоумел от страха, приминал траву лбом, съёжившись у ног Инфанта, и бормотал что-то о детях, которых у него, разумеется, не было. Инфанте пришлось возвращаться ни с чем, даже без сопровождающих, - чему была весьма рада. Гвардеец, придя в себе, опасливо плёлся за ней по пятам, понурил голову и полагая, что теперь-то его точно, как минимум, четвергуют.

Когда суматоха по поводу её беспричинного, по мнению придворных, бегства и возвращения поутихла, Инфанта принялась осторожно выискивать осведомлённых в жизни и смерти обитателя флигеля, ставшего часто являться ей в снах, но лишь затем, чтобы произнести несколько невнятных фраз и молниеносно исчезнуть в клубах зловонного пара. И сами сны становились всё более краткими и тревожными – гул и спонтанный гвалт во дворце нарастал, Инфанте порой казалось, что в соседней опочивальне муштруют кавалерийский полк, а этажом выше грохочет артиллерийская канонада. То были *сплетни*: как гражданская война облачает всю страну в лоскутное рубище пожаров и боен, в бессонный экстаз, так и дворец был охвачен вздорной, от шёпота срывающей на крик, смутой. Инфанта уже опасалась обратиться к кому-либо с расспросами и рассказами, не заговаривала о встрече на нейтральной полосе между мирами. В этой лихорадочной аритмии под шорохи и бряцание истлело некоторое число часов. Преимущественно каминных.



В те дни Инфанта даже радовалась, что дурные слухи не касаются отшельника во флигеле за краем сада, - пересуды гнусом впивались в её взаимоотношения с выдающимся Поэтом, честью эпохи и достоянием Империи. К счастью для Инфанты, репутацией своей *прозванный по праву* Теофоретом, ибо избранный, не дорожил и успокаивающе повторял, что если бы злословцы ни с того, ни с сего заговорили о них в радужных тонах, стало быть, она и он, в самом деле опорочены.

Ненастным осенним вечером, за чтением своих творений, Поэт представил Инфанте книгу, едва не назвав её одушевлённым предметом: чудотворные писания, - с почтением произнёс он, - добавив, что немного знаком с так называемым автором, предпочитающим не присваивать себе таковое право, - сочинять. Инфанта полистала массивное ин-кварто в тяжёлом переплёте, и с волнением вспомнила о затворнике в жутком флигеле. Интуиция оказалась прицельной – Поэт ласково кивнул в ответ на её сбивчивую тираду, подтвердив, что пишущий замысловато, зачастую неясно, и не реже того язвительно философ совсем не похож на привычное и поднадоевшее окружение Её Высочества.

Узнала Инфанта ещё и о том, что философ зовётся Тиазотом, и ему уже около пятисот лет, - в итоге неудавшегося ритуала призванный из inferнальных недр земель беспробудного сна демон проклял адепта, отчего последнему стало невозможным умереть раньше солнечного затмения, одновременного с рождением бога – сверхновой звезды. Адепт служил императорской семье с позапрошлого века, и его последним воспитанником был родной дед Инфанты. Но, после гибели Императора на юго-западном фронте во время затяжной Гипнотической кампании, философ удалился от двора, решив, что в стремительно распадающемся, разъедаемом деградацией мире ему делать нечего. Испросив у регента дом на периферии предьявья, адепт поселился в этом уголке, почти никого не подпускал к дому и только изредка в домашней типографии печатал свои трактаты, оцененные редкими умами времени. Где и как философ добывал пропитание и обустроивал быт, Теофорету было неизвестно.

После той незабвенной для Её Высочества беседы Инфанта захворала, слегла, не оставляя надежд, что когда-нибудь ей снова доведётся встретить заклинателя слов и вещей, и тосковала оттого, что в этом дремлющем дворце она лишь властвует, а не правит. Поэт, тем временем, принёс приятно разнообразившие недужный период известия, - философ дал согласие на аудиенцию, и не будет против, чтобы Инфанта свиделась с ним. Визит состоялся после утомительных праздничных церемоний, лишивших Инфанту оставшихся после болезни сил. Но она, одолев недомогание, побрела вслед за Поэтом, увёдшим её из покоев в слепящую рябь вьюги и морозного колкого ветра.

Они спустились в винный погреб при дворце, где между бочек в человеческий рост с головокружительный ароматом таилась потайная дверца, ведущая подzemелье предьявья. На последнем повороте в пути их встретил самолично адепт, - чтобы гости

не заплутали в подземном лабиринте, большинство ветвей которого вели в преисподнюю. Инфанта боязливо всматривалась в пошатывающийся сутулый силуэт, небрежно политый тусклым светом от чадающего факела. Затем, поднявшись по шаткой лестнице, сложенной из нешлифованного камня задолго до рождения Инфанта, Её Высочество увидела впервые жилище философа и смогла рассмотреть его самого.

Адепт был слегка пьян, часто кривился от боли и подрагивал, обдирал зубами нижнюю губу, мало и бессвязно говорил, ограничиваясь тем, что протягивал расположившимся на продавленном диване гостям книги с указанием, что в них прочесть. Инфанта силилась разобрать его невнятную речь, то и дело теребив Поэта за рукав с вопросами; Поэт милостиво отвечал ей вполголоса, всё равно что переводя с чуждых языков. После продолжительного чтения Теофорет перевёл внимание на библиотеку адепта, уже клевавшего носом, и щекотавшего бородкой поддерживающие голову руки сквозь рукава домотканого хитона, который, как заметила Инфанта, запомнился сходством с гербарием. Одежда адепта была испещрена таинственными знаками, как и стены повсюду в доме, - Инфанта значительно позже узнала, что эти письмена – контракт Адепта с провиденциальными силами, заверившими его служение достойное посмертие.

Пока Поэт упоённо изучал криптограммы на иллюстрациях, Инфанта ёрзала на подушках, беспокоясь одновременно о том, как бы её длительное отсутствие не стало известным нечестивой публике и том, что философ тоже ощущает неуют в чужом присутствии. Инфанта не могла не заметить, что пойманный ею взгляд, обращённый к ней, адепт сразу же отводил в произвольном направлении – от поверхности стола, где рядом с дольками сыра скалились клыками Цербера образцы кристаллов и винные бутылки расставлены, чередуясь с ритуальной утварью, как узнала Инфанта позже, принадлежащего культу кровожадного и жестокого божества, царящего в далёкой от её Отечества стране.

Как ни странно, в этом закопченном тусклом жилище Инфанта впервые почувствовала себя защищённой; привычное ей напряжение и беспокойство уступили искреннему восхищению. Поймать и задержать взгляд философа на себе Инфанте не удалось, и она, возвращаясь с Поэтом, общинчески поддерживающим её за локоток, позавидовала, что кто-то, всё-таки, бывает допущен в обитель мыслителя. В ответ на выраженное косвенно Инфантой сомнение, что она попала в число избранных, Поэт развеял её опасения кратким пересказом пояснений самого адепта: философ не придавал значения принятому в светском *элликсе* этикету. Вместе с тем, не наделённым надменностью, приятельствовал с грубой военщиной и ремесленниками, добывавшими ему материалы для Работы. И желание олицетворения Династии, особенно, Инфанта, чем-то напомнившей ему лучшие времена Империи, было для него истиной и законом. Таким образом, если философ не выпроводил деликатно обоих из дома через несколько минут визита, стало быть, всё в порядке; несмотря на то, что во гневе Адепт страшен и скор на расправу, но в умиротворённом расположении духа обаятелен и терпелив.

Так Инфанта стала редкой гостьей в логове смыслов, как Адепт называл свою не годную к обороне крепость. Философ, поначалу касавшийся только её запястья, не позволяя себе поцеловать её руку, и долго, томительно для Инфанта, ограничивался пространными историями.

Он рассказывал Инфанте о матово-чёрных, хищных звёздах, пожирающих метеоры и целые планеты, - и которых невозможно рассмотреть в обыкновенный телескоп; о демонах, обитающих под фундаментом старых домов, - по ночам покидающих свои затхлые пещеры по невидимым лазам и похищающих сны; об ангелах, питающихся болью, отчаянием и гневом, срезая их, как колосья, вырастающие в темени, золотыми серпами; о языках рыб, птиц и животных, забытых неблагодарными всем им людьми; том, что некогда у каждого человека было по четыре души и множество духов, ангелов, демонов и богов присматривали за ним и покровительствовали ему, но теперь человек, вытравивший в себе три четверти душ, отвергает помощь провиденциальных сил или не замечает её, - с того и начались все беды человечества. Он поведал Инфанте и о том, отчего между ними возросла от смущённой симпатии к умеренной *бесплотной* любви непостижимая ни для кого дружба: в природе нет ничего *одинарного*, - говорил философ. В ней всё рождается и умирает приуготовленным к воссоединению в паре; каждая часть стремится к своей противоположности. Ни в характере, ни в мышлении у нас нет сходства, - продолжал он, - мы становимся близки именно поэтому. В одном мы похожи - мы восходим на одну горную вершину по разным склонам, но эта гора громоздится на изнанке Земли, и потому нам представляется, что мы, напротив, сходим с неё, как к центру воронки. Оговорюсь сразу, - эта близость ограничивается той же противоположностью, уже другого порядка: я предан императорскому роду и иерархии его, в которой мне не найдётся места. Вам же, наследующей престол, титул, тиару и сами Земли Беспробудного Сна, подлежит, а не надлежит иная судьба - совместить в своей фигуре и символе царствование и властвование, что суть различные категории, и потому они должны быть сопряжены друг с другом, подобно тому, как сочетаются Государственность и Церковь.



Инфанта внимательно, немного настороженно, слушала Адепта, не вполне понимая, о чём он толкует, не решаясь возражать. Думалось ей, что её преданность отныне заключена в самом философе, а не его изошрённых мудрствованиях, приправленных иногда остротами. Инфанта чувствовала учащённую дробь сердца от одной мысли, что когда-нибудь ей удастся прильнуть своими алыми нежными губками к постоянно ободранным, шершавым губам Адепта, прижаться к его груди своей, только начавшей оформляться, чтобы возлюбленный ею услышал её трепетное сердцебиение; она сопровождала философа на редких прогулках по сосновому бору, и, слушая его рассказы о янтаре, - памяти богов и первого человечества, заключенных в застывшей смоле, думала только о том, как бы ухватиться за руку философа. Но Адепт безразлично отнёсся к видимым невооружённым глазом на не особенно пристальный взгляд её желание. Однажды он резко обернулся к Инфанте, и хрипло процедил: - На моей первой Родине прикосновение к краешку одежды царевны неблагородного происхождения поданный мог расстаться с пальцем той руки, которой коснулся; в некоторых случаях ему просто выдирали ноготь; за прикосновение вплотную отнимали несколько пальцев или всю кисть; за прикосновение к лицу или телу рубили всю руку

до плеча. Я уже не хочу рассказывать тебе о том, какие истязания ждут тех, кто осмелился бы дерзнуть поцелуем царевны, - одному моему родичу чудом удалось расплатиться одними срезанными губами и вырванным языком, и только потому, что его губы коснулись только *ступни*. Он был врачом, снимавшим гипс со сломанной на конной прогулке ножки царевны. Венценосная юница, сама того не желая и не ведая сурового закона почитания царского рода, упростила его прикоснуться к ней не через особые перчатки из тонкой кожи.

Адепт умолк, так же резко повернулся обратно и спешно зашагал по тропе вдоль берега ручья. Инфанта онемела, кровь схлынула с её лица, и померкло в глазах. Ей не оставалось ничего другого, как держаться до конца прогулки в стороне от философа. Она подсознательно понимала, что для Адепта ее доводы о конфиденциальности и снисхождения законов её страны будут не убедительны; для Адепта не было ничего превыше иерархии, пиетет к которой он сохранял все эти годы.

Тем временем кривотолки во дворце достигли пика, - посещения Её Величеством тайных для придворных мест стало кормом для злорадно блеющего и двусмысленно мычащего *скота*. Вместе с тем, во дворец зачастили иноземные женихи в окружении не менее слабоумной, и оттого словоохотливой прислуги; сватающие на разные лады взывали к наследнице лакомого престола. Они состраивали поверх приторно-льстивых мин фантастические посулы, зазывали в насыщенные сладостными впечатлениями путешествия и даже предлагали сбежать вместе из всех дворцов, и поселиться там, откуда нет возврата, но и угрожать разоблачением некому. Понемногу Инфанта привыкла к слившимся в монотонный гул нелепым предложениям, каждый раз отвечая решительным, чинным и величественным отказом. Женихи унимались, но унявшихся тут же перебивали новоприбывшие, - и никакой категорический отказ не разрушал их бесплодных планов; поток клятвенных заверений из неумолчного гомона превращался в головную боль гонцов, уставших в любую погоду подвозить к дворцу обозы с любовной корреспонденцией.

Фрейлины не теряли поводов оттачивать свои глумливые язычки на целомудрии Её Высочества; инфанта, пользуясь случаем, выдумала им достойное наказание – проговорившейся в присутствии принцессы сплетнице остригали наголо голову. Волосы шли на половицы в доме Адепта. Впрочем, Инфанта была достаточно беспечна, чтобы заводить персональных доносчиков и соглядатаев, - застав однажды нескольких болтуний благородных кровей, она позволила беспрепятственно бежать в панике всем, кроме одной, несвоевременно стянувшей с физиономии кисло-желчную улыбку. Её сняла Инфанта неловкой пощёчиной, а медлительную герцогиню лишили титула с фамильным именем.

Для Инфанты единственным отдохновением стали редкие визиты к Адепту, начавшему интересоваться её невзгодами и сочувствовать, утешая в меру возможного. Но и те блаженные дни вскоре стали будущей Королеве недоступны, сохранившись лишь вросшими глубоко в почву памяти снами.

В безоблачном знойный день, завершающий июль, Инфанта застала Адепта в великолепном настроении; воодушевлённый философ сообщил ей, что сегодня, через несколько часов, они впервые увидят Чёрное Солнце. Инфанта не поняла тогда, насколько драматична была эта радостная весть, и что она потеряет в итоге. Для неё было счастьем уже то, что Адепт позволил ей сесть к нему на колени, приставив тяжёлое кресло с высокой спинкой к телескопу на мансарде. Руки он, впрочем, сразу же положил на резные подлокотники, коснувшись тела Инфанты, как прежде, только единожды и крайне осторожно.

Между тем, небесное светило начало меркнуть, - настала вторая краткая ночь; Адепт предложил Инфанте заглянуть в окуляр прибора, направленного, по его словам, прямо

в ту точку небесной сферы, где, одновременно с затмением, должно произойти рождение Третьего Эона. Инфанта охотно приникла к линзе, и сразу же вскрикнула от испуга: в непроницаемой тьме ей почудилось, что звёзды столь же внимательно, но невыносимо зловеще присматриваются к ней. Привиделись и гневные лики богов, рассерженных тем, что какие-то ничтожные смертные проникли одним только взглядом в их тайны. Испуганная заволокшим весь кругозор мрачным видением Инфанта затаила дыхание, и ей казалось, что вместе с ней приостановил сердце сам Адепт. Внезапная вспышка хлестнула по глазам, словно отогнутая ветка кустарника; Инфанта зажмурилась и прижалась к похолодевшему странным образом Адепту, будто заснувшему на самом интересном эпизоде. Не открывая глаз, Инфанта решила нарушить негласное соглашение между ней и философом, и потянулась со сложенными в нежном зове губами к его лицу. Её изящные руки обвили шею философа, не шевельнувшегося от неожиданной ласки. Инфанте показалось, что она поцеловала мраморную статую, одну из тех, что украсили, зачастую неуместно, сад при дворце. И когда она открыла глаза, не лучшая гипотеза её подтвердилась, - Адепт превратился в собственную точную копию из бледно-зелёного камня. Лицо его ещё до того, как окаменеть, приняло выражение посмертной маски – безмятежного умиротворённого сна *с открытыми глазами*.

Когда Инфанту нашли, она заснула, обняв колени статуи. Позже Инфанта удивлялась самой себе – потому что слёзы и смятение не нарушали её повседневного, ставшего строгим, преисполненным торжественности, подобающей сану, порядка. Возможно, не без впечатления от слов самого Адепта, часто повторявшего строки

*Отраднo спать, отрадней – камнем быть
О, этот век, преступный и постыдный
Не чувствовать, не жить – удел завидный
Прошу – молчи! Не смей меня будить!*

Инфанта с мнимым безразличием проследила за исполнением её приказа вынести скульптуру из флигеля и тщательно поддерживать в потерявшем владельца доме чистоту и уют, понятный и чувствуемый только ею. Статую водрузили на неприметный пьедестал, под сенью обвитой плющом беседки в саду. Отказавшаяся без сожаления от «почётного конвоя» свиты, Инфанта теперь приходила в сад одна, только для того, чтобы заглянуть во впалые глаза статуи, казавшиеся ей по-прежнему пронизательными. Иногда даже забиралась к нему, бесчувственному и безмолвному, на колени, ластилась и жалась как к живому телу. Долго не выдерживала, - тянулись и растворялись сезон за сезоном, но облечённый камнем Адепт так не дрогнул, даже когда Инфанта, памятуя о чудотворном действии жестов и слов королевского рода, омыла его лицо слезами, запретными даже для большинства аристократов, и со всей нежностью, на какую была способна, поцеловала, - второй раз в жизни, - его бездвижные уста. И Её Высочество перестала его посещать.

Минуло несколько неравномерно распределивших счастье и горести лет. Инфанта была коронована, вышла замуж и родила наследницу – с негодованием замечая, что дочь повторяет её участь; обитатели и визитёры дворца с тем же успехом обсуждали ещё и общительную, доверчивую и почти беззащитную, Принцессу. Повседневные и всеночные тревоги за себя и семью лишили Королеву лучшей части её личной гвардии и государства, - снов. И длились бы тревожные дни и ночи, разделённые сумерками богов без равноденствий и полнолуний, вплоть до самой Революции, которая, как известно, настает не-когда, отдаляясь подобно горизонту, по мере приближения к ней. Как мы и повествовали в начале, Королеву пробудил, что удивительно, выдавшийся из нервного морока сон. Именно потому, что сон ни к чему не обязывал, ни к чему не призывал, никуда не увлекал и ничего не предвещал, Королева позволила себе безо всякого на то основания, встать и босиком выйти в сад.

Между фаланг пионов ещё стелился предрассветный туман, арки в аллеях терялись в полутьме, коротко подстриженные травы неприятно, но без злых намерений кололи ступни, поощряемые к быстрому шагу холодом пропитанной росой земли, и неслышно было пение птиц. Безмолвие привело Королеву к той самой беседке, где блеклой тенью некогда проступала в сумерках сидящая фигура. Теперь Адепт, вставший как ни в чём ни бывало, словно засыпал на несколько минут, отряхивался от пыли и палой листвы прошлых лет. Королева же робко приблизилась к нему, как бывало раньше, ощутив себя вновь наивной беззаботной девицей, в мгновение вернувшимся трепетом взглянула на него, сразу же признав возлюбленного.

Бородка адепта дрогнула и между беззлобно саркастической улыбкой, некогда полюбившейся до беспамьятства Королеве, и ожившее изваяние проговорило глухо и бесстрастно:

- Здравствуй, милая. *Мы* вернулись.



ПАВЕЛ ПРОХОРЕНКО

* * *

Печать

на веко поцелуем
навечно нет назло

пить чай

душистый как твоя душа
мне душно от невысказанных слов

печаль

безбрежна центробежна неизбежна
и взмахами ресниц пролистывать

мгновения надежды

причал

вода как мятая страница
нет мы не странники мы просто

пассажиры

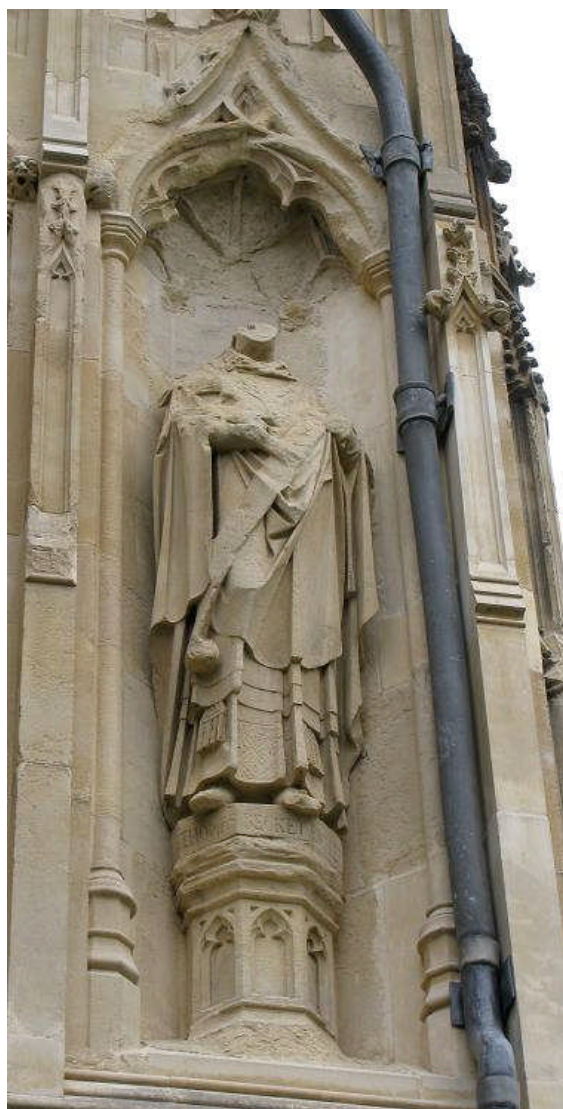


КИРИЛЛ САВИЦКИЙ. ПЕРСОНА ПЕРВОГО СВОЙСТВА

(persona sui generis)

*Его Святейшеству Бенедикту XVI, в миру Йозефу Алоису Ратцингеру,
с сыновним почтением, любовью и благодарностью...
Долгих лет жизни!*

Папа выходит из исповедальни.
Перикардит. Слезы Папы овальные.
«Станется День – возопят даже камни»
От Неаполя до Тосканы.
И не «Как голодны мы», но «Осанна!»
Немощна плоть: зубы, кости и ткани...
Ты – Первый камень.
/
Папа сверкает. Папа седеет.
В орнаменте из тысячи гофманских змеек.
Шепот молитвы – и площадь немеет.
Как нейрорептиль,
Как невращатель...
-
Смерть обдирает холодный застенок
/
Папа мечтает. Папа рисует.
На этот мир без поцелуев
Он один налаживает
Он один конфискует
Люминисцентный покров
/
Папа плывет по худым коридорам,
Балансируя ржавость швейцарских затворов.
Фрески – как зверские триколоры
Из незатянутых веков.
/
Здесь старость его безнадежно уносит
В жирное елеемногоголосье
Колосья времени тянутся к Осени...
Папа хрипит. Папа ждет. Папа просит...
/
Радио «Ватикан» пеленгует:
Папа летает. Папа танцует.
Врачи предвкушают. Рабы колят.
Лишь Верные знают механику тайны:
Он преодолевает!
Он торжествует.
Он знает план.



АНАТОЛЬ ТУМАНОВ. Та ёвсколѡтата



Однажды, чуть солнце выглянуло поверх рыхлой хвои и пышной листвы берёз, Пата выполз с чердака, где опустошённая хорьками голубятня и выжженные осинные гнёзда, просочился сквозь щель между ставнями и понёсся на клеверный луг, с которого ещё не сошла роса. Рядом с тропинкой, огибающей луг, посреди мягкой зелени было «бельмо», - овал приблизительно полутора метров в длину, сплошь из песочного цвета глины. Ни одной травинки не выросло на нём, сколько мы себя помним и сколько бы ни орошали его дожди. Только трещины в засуху разрастались на нём, от смещённого центра к периферии.

Пата «кувырком» долетел до него, сжался сидя на коленях, руки, точнее, «остов» их выдвинул к земле, попробовал прижать их к надтреснутой почве. Так как он был «юрэием» [призраком], глинозём впитал его конечности по локоть,

так, что отросшие, редкие и сальные космы тоже впились в землю.

- Что он там разглядывает, заслонив лохмотьями и волосами свет - думал да гадал я, - между тем, Пата принятые между нами жесты внимания игнорировал. Выглянул в полдень – застыл, как был, сгорбленным. Взглянул в самое жаркое время дня, когда земля раскалилась так, что босиком даже об сочную газонную траву можно ступни обжечь, - навис над глиняным пятном, и солнечные лучи пронизывают прозрачное костлявое тельце, того и гляди, льняная ткань (клячья простыни из роддома) и кожаная его «обертки» задымятся. Поглядел за сбором яблок к вечеру – застыл, то ли проявляет Подвиг Терпения, и ждёт чего-то, или просто забыл, чего ждал и заснул, что с ним нередко случается.

Вернулся Пата на закате, всем своим видом представляя самодовольство.

- Ну, что же там, уподобился Бодхидхарме [в силу понятных причин нам проще было употребить японский синоним – “дарума-дайси”], просидевшим девять лет кряду лицом к стене?

- Мудак. Я наблюдал за муравьями. Надо же мне от вас всех отдыхать. Окружающие меня существа *слишком много думают*, чтобы я этого не заметил.

ОПРОКИНУТАЯ ВЕЧНОСТЬ. IN©ITATUS II.